

A woman with brown hair tied back, wearing large black headphones with a red light, is sitting at a wooden desk. She is looking down at an open book. The room has a large window that looks out onto a vast, green valley with rolling hills and a large, snow-capped mountain range in the background under a blue sky with white clouds. To the right, there is a bookshelf filled with books. In the foreground, there are some potted plants and a small bowl of snacks on the desk.

Юрий Ямилов

Любить не
плоть, а то, что
потеряли

Юрий Ямилов

**Любить не плоть,
а то, что потеряли**

«Автор»

2026

Ямилов Ю.

Любить не плоть, а то, что потеряли / Ю. Ямилов — «Автор»,
2026

Она случайно включила аудиокнигу, которой нет в интернете. Настя — развод, немытая тарелка, сын, который молчит по утрам. Ей 42, её жизнь похожа на смету с ошибкой в итоге. Всё меняется в одну ночь: голос в наушниках переносит её на холм, где Адам и Ева ещё не знают разделения, а мысли светятся теплом. Проблема: этой книги не существует. Её нет в магазинах, нет в базах — она приходит только во сне. И она говорит с Настей голосами её мужа, сына и нерождённого ребёнка. Тогда Настя решает дописать книгу сама. Вместе с незнакомцем из Москвы, который тоже слышал этот текст. Их переписка становится новой главой — о том, можно ли дышать врозь одним воздухом и любить не плоть, а то, что потеряно навсегда. «Любить не плоть, а то, что потеряли» — роман о том, как мы теряем друг друга и находим себя. О том, что туча между людьми не всегда враг, а иногда — единственный шанс научиться верить. Хватит ли у вас смелости открыть книгу, которая уже ждала именно вас?

© Ямилов Ю., 2026

© Автор, 2026

Юрий Ямилов

Любить не плоть, а то, что потеряли

ЛЮБИТЬ НЕ ПЛОТЬ, А ТО, ЧТО ПОТЕРЯЛИ

Как дышать врозь одним воздухом?

НУЛЬ-ГЛАВА. ТЫ УЖЕ ЗДЕСЬ

Кто-то открывает эту книгу. Возможно, это ты. Или тот, кому ты снишься. Книга открывается — и вместе с ней открывается пространство, которого за секунду до этого не было.

Книги не говорят — они ждут, когда кто-нибудь вдохнёт в них жизнь. Дыхание касается страниц, и книга начинает дышать в ответ. Это трудно заметить, но можно попробовать: воздух становится чуть плотнее, тени в углах — глубже, тишина перестаёт быть просто отсутствием звуков.

Тот, кто читает эти строки, ещё не знает, о чём эта книга. Может быть, она сама нашла его — случайная ссылка, забытый файл, чужой голос в наушниках. Книги умеют находить своих читателей, и никто не знает как. Но если эти строки попались на глаза — значит, в этом есть необходимость.

В этой книге можно увидеть женщину, которая не может заставить себя вымыть тарелку. Мужчину, который смотрит в окно и думает о той, кого никогда не встречал. Адама и Еву — не в раю, а в чужой памяти. Предательство, которое было не предательством, а любовью. Смерть, которая была не концом, а началом.

Где-то между этими строчками можно увидеть и себя. Не обязательно сразу. И не обязательно смотреть в упор.

Настя уже зашла в квартиру. Она сбросила туфли у порога и, не зажигая света, прошла на кухню. Можно войти вместе с ней. Можно остаться на пороге. Никто не будет настаивать.

Если кто-то дочитает до конца, он, возможно, заметит: книга не закончилась. Она просто перешла в другое состояние — в мысли, в сны, в дыхание. И если вернуться к первой странице, она будет выглядеть иначе. Не потому, что изменилась книга. А потому что изменился тот, кто её открыл.

Теперь **Часть первая. Кухня. Глава 1**

Тарелка стояла на столе. Гречка слиплась в ком, котлета была надкусана с одного боку, крошки от неё рассыпались по клеёнке, как серые песчинки. Жир застыл белой плёнкой, и в ней отражался свет уличного фонаря — дрожащий, жёлтый, больной.

Настя смотрела на эту плёнку уже четвёртый час.

Она вернулась из суда в час дня. Сняла туфли у порога — левый каблук стоптался, она машинально отметила: надо отдать в ремонт, но теперь некому напомнить. Прошла на кухню, села на табуретку, положила руки на колени. Сначала смотрела на окно — за ним моросил дождь, мелкий, сибирский, бесконечный, стёкла запотели изнутри, и казалось, что квартира плачет. Потом на часы — стрелка дёргалась, отсчитывая минуты, которые больше никуда не вели. Потом взгляд упал на тарелку и застыл вместе с жиром.

Серёжа отказался есть утром. Сказал: «Я к папе хочу, у него нормальная еда». Даже вилку не взял. Ушёл в школу молча. А она осталась стоять с этой тарелкой в руках и вдруг поняла, что не может заставить себя ни вымыть её, ни выбросить, ни просто убрать со стола. Что-то внутри сломалось — та самая шестерёнка, которая всю жизнь заставляла всё расставлять по местам.

Вилки — зубцами влево. Книги — по алфавиту. Мысли — по степени важности. Жизнь — по расписанию.

Развод оформили неделю назад. Нет, не так — развод случился три года назад, в тот вечер, когда муж сказал: «Ты меня не слышишь, Настя. Ты вообще никого не слышишь». А неделю назад они просто поставили подпись. В ЗАГСе пахло хлоркой и чьими-то духами — сладкими, приторными, как сироп от кашля. Женщина в окошке сказала: «Поздравляю, вы свободны». И улыбнулась — профессионально, без тепла. Настя тогда хотела ответить: «Свобода — это когда у тебя есть к кому возвращаться», но промолчала. Молчание вообще стало её главным языком за последние годы.

Теперь Серёжа ночевал у отца. Впервые за долгое время она была в квартире одна. Тишина стояла плотная, как холодный кисель, заполнивший все углы. Иногда она вздрагивала: холодильник включался с глухим рокотом, капли срывались с карниза и били по жестяному отливу — звук был похож на щелчок метронома. Каждый такой звук не нарушал тишину, а только подчёркивал её, как чёрная рамка подчёркивает фотографию.

Настя не включала свет. За окном горел фонарь, его света хватало, чтобы видеть очертания предметов: плиту, чайник, банку с гречей, тарелку. Тени от веток берёзы дрожали на стене — и вдруг ей показалось, что это не ветки, а чьи-то пальцы, длинные, костлявые, пытаются нащупать выключатель. Она моргнула — пальцы снова стали ветками. Но холодок между лопаток остался.

Она взяла телефон. Экран засветился синим, высветив её лицо — бледное, с тёмными кругами, губы сухие, волосы нечёсанные. Она открыла приложение с аудиокнигами — просто чтобы чем-то занять мозг, чтобы чужой голос заполнил пустоту. Пролистала рекомендации: «Как полюбить себя», «Счастье в одиночестве», «Десять шагов к новой жизни» — всё мимо. Уже собиралась закрыть, когда взгляд зацепился за название в самом низу списка:

«Светлый смех и горькая соль»

Ниже — подзаголовок мелким серым шрифтом: «Как дышать врозь одним воздухом?»

Ни автора, ни обложки. Только название и этот вопрос. Настя никогда не добавляла эту книгу. Может, Серёжа скачал? Или муж — у них до сих пор общий аккаунт. Она нажала «скачать», надела наушники, легла на диван.

Голос чтеца — женский, не молодой, с лёгкой хрипотцой и неправильным, как будто домашним, придыханием после «т» — произнёс:

«Они сидели на вершине холма. Не было ни холма, ни их самих — было общее тепло, перетекающее из одного в другое, как дыхание...»

Настя закрыла глаза. И тут же перестала чувствовать диван под собой. Перестала слышать холодильник. Перестала помнить, что она — Настя, что ей сорок два, что она в разводе, что на столе стоит немытая тарелка. Вместо этого она ощутила тепло — не физическое, а какое-то изначальное, как будто она лежит не на диване, а внутри колыбели из света, и рядом кто-то дышит в такт с ней.

Это было так странно и так хорошо, что она не стала сопротивляться. Она просто отдавалась этому теплу, как отдаются воде, когда учатся плавать.

И провалилась.

Сначала не было ничего. А потом появился запах.

Запах был горьковатым и одновременно сладким — так пахнет полынь, если растереть её в ладонях в июльский полдень, когда солнце выжигает из травы все остальные оттенки. Настя не понимала, откуда она это знает — в Томске полынь почти не росла, только у бабушки в деревне, но бабушка умерла пятнадцать лет назад. И всё же запах был знакомым, как будто она помнила его ещё до своего рождения.

Потом пришёл звук. Не слова — музыка. Три ноты, одна за другой, и каждая значила: я-лю-блю. Музыка звучала не в ушах, а где-то в груди, под левой ключицей, и от неё расходилось тепло — то самое, из которого состоял этот мир.

Потом появился холм. Низкий, поросший травой, которую никогда не касалась коса. Небо над холмом было белым — не пасмурным, а именно белым, как будто ещё не решившим, каким ему быть. На холме сидели двое. У них не было имён, но Настя сразу поняла: вот эта девушка с тёмными волосами и родинкой над левой бровью — это она сама. Вернее, не совсем она, но та, кем она была, когда ещё не было слов, чтобы разделять. А рядом с ней — мужчина. Он смотрел на девушку, и от его взгляда воздух становился теплее.

Они не говорили. Вместо слов между ними текли образы — яркие, как вспышки, и понятные без перевода. Девушка послала образ щекотки — и мужчина засмеялся, и смех его был светом, настоящим светом, который струился из горла и падал на траву, и трава там становилась зеленее.

«Ты глупый», — подумала девушка, и это прозвучало музыкой из тех самых трёх нот.

«А ты — свет», — ответил он, и она ощутила этот свет внутри, как реальное тепло.

Настя во сне улыбнулась. Она не понимала, как это возможно — чувствовать чужую мысль, но сейчас это было так же естественно, как дышать. Ей казалось, что она всегда это умела и только забыла. Где-то далеко, на самом краю сознания, маячила мысль, что это просто сон, что сейчас она проснётся на диване, и будет тарелка, и будет дождь, и будет пустота. Но здесь, на холме, пустоты не было. Всё было заполнено — теплом, светом, музыкой, запахом полыни.

А потом что-то изменилось.

Сначала это было почти незаметно — лёгкое марево, как воздух над раскалённым песком. Девушка послала мужчине образ воды — прозрачной, холодной, с привкусом железа, как из лесного родника, — но он пришёл к нему чуть искажённым: вода была мутной, тёплой, с горьким осадком. Он удивился, но не придумал значения — мало ли, может, просто устал.

День за днём марево сгущалось. Мысли проходили уже не напрямую, а сквозь туман: очертания оставались знакомыми, но детали размывались. Он пытался угадать её настроение — и угадывал лишь наполовину. Она пыталась понять, что он чувствует, — и наткнулась на глухую стену.

А потом туман стал облаком. Плотным, серым. Теперь они не видели мыслей друг друга — только смутные тени за завесой. Девушка (Ева — вдруг всплыло имя, и Настя поняла, что так зовут эту женщину, хотя та сама ещё не знала своего имени) потянулась к нему мыслью и наткнулась на холод. Не на враждебность — просто на холод. Так бывает, когда проводишь рукой по стеклу с той стороны, где зима.

А потом облако стало грозовой тучей. Тяжёлой, чёрной, полной грохота и молний. Каждая попытка пробиться мыслью наткнулась на разряд — обжигающий, ослепляющий. Ева отдёргивалась и плакала без слёз — внутри, где больше никто не мог услышать. Адам (это имя тоже пришло само) метался по ту сторону тучи и бил в неё кулаками, но кулаки проходили сквозь, не оставляя следов.

И тогда — впервые за всю бесконечность — они потянулись друг к другу не мыслями, а телами. Адам протянул руки, Ева шагнула навстречу, и они обнялись — не как части одного целого, а как двое отдельных, испуганных, тёплых.

От этого первого объятия в ней вспыхнула искра. Плод.

И в тот самый миг мир начал входить в неё заново. Запах мокрой травы. Шершавость камня под босой ступнёй. Вкус ветра — горький и свежий. Всё это она ощущала теперь одна, отдельно от Адама. С каждым днём туча между ними становилась всё чернее — и одновременно крепла её связь с этим миром. Она слышала, как дышит земля после дождя, как прорастают корни, как осыпается пыльца с цветка. И в этом была боль — потому что Адам оставался

где-то рядом, но уже не внутри. И в этом была радость — потому что каждый звук, каждый запах принадлежал только ей.

— Ты больше не слышишь меня? — спросил Адам вслух. Это были первые слова, произнесённые голосом, и они прозвучали глухо, как будто через подушку.

— Нет, — ответила она одними губами. — Но я слышу, как он растёт внутри. И я слышу, как пахнет вода.

Она опустила на колени у лужи, зачерпнула горькой воды, выпила. И заплакала — впервые. Не от боли. От того, что была одна — но не одинока. Сквозь слёзы она вдохнула запах гниющих водорослей и вдруг улыбнулась — мокро, криво.

— Знаешь... я никогда не думала, что тление может пахнуть так сладко.

Он не понял. Но её улыбка оказалась заразной.

Ева плеснула ему в лицо горькой водой.

— Что ты...

— Учю тебя смеяться. Без мыслей. Просто так.

Он засмеялся — грубо, гортанно. В смехе была соль — его собственная, отдельная, смертная жизнь.

Настя открыла глаза. Наушники сползли на подушку, из них всё ещё лился голос чтеца: «...и он засмеялся — грубо, гортанно, и в смехе была соль». Она лежала на диване, в своей квартире, в Томске, в апреле, и по щекам текли слёзы. Она не заметила, когда начала плакать. Телефон показывал 23:17 — прошло чуть больше часа.

Она села. Плечи затекли. Тело было ватным, как после долгой болезни. Во рту стоял странный привкус — горьковатый, с оттенком тины. Она провела языком по нёбу — нет, показалось. Или нет?

За окном всё так же шёл дождь. Тарелка всё так же стояла на столе. Но что-то изменилось. Настя не могла сказать, что именно. Будто воздух в квартире стал плотнее — или, наоборот, прозрачнее, и сквозь привычные вещи проступило что-то ещё. Она посмотрела на свою ладонь — на сгибе большого пальца краснела свежая царапина. Откуда? Ведь она ничего не делала, только лежала и слушала.

Она встала, подошла к окну. Прижалась лбом к холодному стеклу. Там, снаружи, были те же девятиэтажки, те же машины у подъезда, та же лужа под фонарём, в которой дрожал жёлтый свет. Но ей вдруг показалось, что за этой картинкой есть что-то ещё — как будто реальность стала прозрачной и сквозь неё проступил тот самый холм, та самая полынь, та самая туча.

Она тряхнула головой. «Сон, — сказала она вслух. — Просто сон». Голос прозвучал хрипло, как после долгого молчания.

Но на столе лежал телефон, и на экране всё ещё светилось название книги. «Светлый смех и горькая соль». Она потянулась выключить — и заметила кое-что странное. Книга не была скачана. Значок загрузки всё ещё крутился, как будто файл был бесконечным. Или как будто книга продолжала писаться прямо сейчас, пока она слушала.

Настя смотрела на крутящийся значок и вдруг поняла: она не хочет, чтобы книга заканчивалась. Потому что, пока голос звучит, она не одна. Потому что эти странные образы — Адам, Ева, туча, горькая вода — они говорят с ней на языке, которого она не знала, но который понимала. Потому что там, в этой книге, её боль обретала смысл — не как наказание, а как часть какого-то огромного, ещё не ясного ей замысла.

Она надела наушники и нажала «продолжить».

Голос чтеца подхватил её, как подхватывает течение, и она снова закрыла глаза.

Ева рожала три дня.

Адам сидел у входа в пещеру и слушал крики. Прежде он умел чувствовать её боль как свою — теперь он мог только догадываться. Каждый крик вонзался в него и не находил выхода. Он бил кулаками по земле, царапал ладони о камни, но это не помогало. Боль оставалась снаружи — страшная, неразделённая.

Повитуха, старая женщина с лицом, похожим на печёное яблоко, выходила к нему и качала головой: «Жди». И он ждал — впервые в жизни. Прежде он не знал, что такое время, потому что время — это расстояние между желанием и исполнением, а прежде желание и исполнение были слиты в одно. Теперь между ними легла пропасть, и она называлась ожиданием.

На третьи сутки крики стихли. Адам ворвался в пещеру и увидел Еву — бледную, мокрую от пота, но живую. В руках повитухи что-то скользкое и горячее — ребёнок. Только он не дышал.

— Нет, — сказала Ева. — Нет, нет, нет.

Она прижала его к груди и стала баюкать, как будто это могло помочь. Адам упал на колени.

— Ты хотел, чтобы он был, — произнесла она без выражения. — Вот он. Мёртвый человек.

Адам ничего не ответил. Он просто обнял её — её и того, кто мог бы стать их сыном. Они просидели так до рассвета. Когда солнце поднялось, Ева отдала тельце повитухе и вышла из пещеры. Она села на камень и стала смотреть на восток. Слёз не было — они кончились.

Адам вышел следом. Он не знал, что сказать. Все слова, которые он знал, были слишком малы для этой пустоты.

— Знаешь, что я сейчас чувствую? — спросила она.

— Нет, — честно ответил он.

— Я чувствую, что я одна. Что вся эта боль — моя. Ты не можешь её взять. Никто не может.

— Я могу быть рядом.

— Этого мало.

— Знаю. Но больше у меня ничего нет.

Она помолчала. Потом взяла его руку и положила себе на живот.

— Там ещё кто-то есть. Я чувствую.

— Ты хочешь его родить?

— Я не знаю. Но он уже здесь. Я слышу его, как когда-то слышала тебя. Только иначе. Слабее. Как будто через воду.

Через год она рожала снова. Ребёнок закричал — слабо, мяукающе, но он был жив. Ева взяла его на руки и посмотрела в глаза — мутные, ещё не видящие, но уже отдельные.

— Каин, — сказала она. — Это значит «приобретение». Я приобрела смерть — и получила любовь, которая не знает вечности.

Адам стоял рядом и не мог отвести взгляд от этого крошечного существа. В нём не было единства, не было света, не было музыки. В нём была только жизнь — упрямая, слепая, смертная. И этой жизни хватило, чтобы наполнить пещеру до краёв.

Настя проснулась от того, что телефон разрядился. Голос в наушниках оборвался на полуслове: «...и этой жизни хватило, чтобы наполнить...» Наполнить что? Она не узнала. Экран был чёрным.

За окном светало. Дождь перестал, и в просветах между тучами проглядывало серое, разбавленное молоком небо. Часы показывали 05:41. Она проспала всю ночь на диване, в одежде, под пледом, который сама на себя накинула, не помня когда. Тело ныло, но голова была ясной — той особенной, хрустальной ясностью, какая бывает после долгого плача.

Она встала. Тарелка всё ещё стояла на столе — теперь уже не упрёком, а просто фактом. Настя посмотрела на неё и вдруг почувствовала не отвращение, не усталость, а что-то похожее на благодарность. Эта тарелка пережила с ней эту ночь. Эта тарелка видела, как она плакала, как она смеялась во сне, как она прижимала ладонь к груди, пытаясь сохранить ускользающее тепло.

Она взяла тарелку и подошла к раковине. Открыла воду. Холодная струя ударила по застывшему жиру, разбивая его на мелкие хлопья. Настя смотрела, как они кружатся в водовороте и уходят в слив, и ей казалось, что вместе с ними уходит что-то ещё — может быть, тот самый страх, который держал её в оцепенении последнюю неделю. А может, и не только неделю. Может, всю жизнь.

Она вымыла тарелку и поставила её в шкаф — не туда, где обычно стояли тарелки, а на свободное место, просто потому что оно было. Порядок восстановился, но что-то внутри больше не требовало, чтобы он был идеальным. Достаточно того, что он есть.

Настя прошла в комнату Серёжи. Учебники на столе лежали по алфавиту — это она его научила. Машинки на полке — по размеру. На спинке стула висела его футболка с динозавром, мятая, но чистая. Она взяла её и поднесла к лицу. От ткани пахло сыном — молоком, пластилином, чуть-чуть потом. И ещё — тем неуловимым запахом детства, который исчезает к двенадцати годам, но пока держится, цепляется за волокна.

Она стояла так долго, вдыхая этот запах, и вдруг поняла: Серёжа — мост. Единственное, что осталось от той связи с мужем, — не документы, не общие фотографии, не кольцо в шкатулке. А этот мальчик, который молчит по утрам и поёт по вечерам. Мост, который уже не соединяет её с бывшим, но всё ещё держит её на этой земле. Если бы не он, она могла бы просто раствориться в тишине, как сахар в чае, — без следа, без вкуса.

В замке повернулся ключ.

Серёжа вошёл, сбрасывая рюкзак у порога. Увидел её — растрёпанную, в мятой одежде, с футболкой в руках — и нахмурился.

— Мам, ты опять не поела.

Это было сказано буднично, без упрёка, но Настя услышала в этих словах то, чего не слышала раньше: заботу. Не детскую, а почти взрослую, усталую, привычную. Так говорят люди, которые давно взяли на себя ответственность за тех, кого любят.

— Сейчас поем, — сказала она.

Он прошёл в свою комнату, и она услышала, как он начал напевать себе под нос — тихо, бессвязно, мотив из старого мультика, который они смотрели вместе сто лет назад. Она стояла в коридоре с его футболкой в руках и слушала этот мотив, и вдруг до неё дошло: он поёт ту же мелодию. Те самые три ноты. Я-лю-блю.

Совпадение? Конечно. Простое совпадение. Но по спине пробежал холодок — тот самый, как во сне, когда тени становились пальцами.

Она положила футболку на стул и пошла на кухню. Достала из холодильника яйца, молоко, муку. Замесила тесто. Разогрела сковородку. Через пятнадцать минут на столе дымились стопка оладий — таких, какие они когда-то жарили по воскресеньям всей семьёй.

Серёжа вышел на запах.

— Ого, — сказал он. — Ты чего?

— Захотелось.

Он сел за стол, взял оладью, откусил. Потом ещё одну. Потом поднял глаза и вдруг улыбнулся — не криво, не вежливо, а по-настоящему, той самой улыбкой, которая была у неё во сне, когда Ева пила горькую воду.

— Вкусно, мам.

— Спасибо, сын.

И они ели молча, и молчание это было не пустым — оно было полным. Полным до краёв.

Конец Части первой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГЛИНА

1

Понедельник начался с будильника.

Настя открыла глаза в 06:45 и несколько секунд лежала неподвижно, глядя в потолок. Потолок был белым, с трещиной в левом углу — она появилась три года назад, когда соседи сверху делали ремонт и уронили что-то тяжёлое. Тогда муж сказал: «Надо бы замазать». Она ответила: «Я сама». Так и не замазала. Трещина осталась — тонкая, извилистая, как русло пересохшей реки на карте. За эти годы Настя выучила её наизусть и теперь, просыпаясь, первым делом проверяла, не поползла ли она дальше. Трещина не двигалась. Это успокаивало.

Она села, спустила ноги на холодный пол. В квартире было тихо — Серёжа ночевал у отца, и эта тишина всё ещё казалась чужой, как новая одежда, которую не успел обносить. Настя нащупала тапочки, прошла на кухню, включила чайник. Действия были автоматическими, заученными за пятнадцать лет брака: чайник, кружка, заварка, сахар — две ложки, хотя муж всегда говорил, что она кладёт слишком много и это вредно. Теперь некому было говорить.

Она села за стол и только тут заметила, что тарелка, вымытая в субботу, стоит на сушилке — не в шкафу. Там же лежала вилка зубцами вправо. Настя несколько секунд смотрела на неё, потом переложила зубцами влево — просто чтобы восстановить равновесие. Мир всё ещё держался на таких мелочах.

Чайник закипел с глухим рокотом. Она налила кипяток в кружку, и по кухне поплыл запах — терпкий, с ноткой бергамота. Этот чай покупал муж, он любил «Эрл Грей», хотя Настя предпочитала обычный чёрный. Пачка стояла в шкафу уже полгода после его ухода, и она не выбрасывала — не из сентиментальности, а потому что жалко было хороший чай. Или потому, что выбросить значило признать: он больше не вернётся к утреннему чаепитию. А он и так не вернётся.

Настя не пошла на работу — взяла отгул за свой счёт. Ей нужно было съездить в налоговую, разобраться с какими-то бумагами по совместной квартире, которую они с мужем пока не решили, как делить. Она оделась тепло: апрель в Томске — это всё ещё зима, притворяющаяся весной. Серое пальто, серый шарф, серые сапоги — она поймала своё отражение в зеркале лифта и подумала: «Я вся как этот дождь. Бесцветная».

На улице морось — та самая, бесконечная. Она раскрыла зонт и пошла к остановке. По дороге её обогнал троллейбус, обдав грязной водой из лужи. Настя отскочила, но всё равно несколько капель попало на пальто. Она вытерла их рукой и вдруг замерла: капли на ткани расплылись тёмными пятнами, похожими на карту какого-то неизвестного континента. Ей вспомнился сон — тот самый, про Еву, которая пила горькую воду из лужи. «Гление может пахнуть так сладко», — прозвучало в голове чужим голосом. Голосом чтеца.

Она тряхнула головой и пошла дальше.

В налоговой пахло бумагой и потом. Очередь была длинной, и Настя встала в самый конец, прижав к груди папку с документами. Перед ней стояла женщина с коляской — младенцу было от силы месяца три, он спал, приоткрыв рот, и изредка вздрагивал во сне. Настя смотрела на него и чувствовала, как внутри что-то сжимается — не боль, но память о боли. Она вспомнила, как прижимала к груди Серёжу — такого же крошечного, с такими же вздрагивающими веками. Тогда ей казалось, что мир наконец-то собрался в единое целое: муж, ребёнок, дом, запах молока и детской присыпки. Она помнила это ощущение полноты — острое, почти

невыносимое в своей завершенности. И помнила, как оно начало утекать, медленно, незаметно — сначала по капле, потом ручьём.

— Вы проходите, — сказал кто-то сзади.

Очередь продвинулась. Настя шагнула вперёд, но женщина с коляской вдруг обернулась:

— Простите, вы не присмотрите? Мне в окошко, а она проснётся — заплачет.

Настя кивнула. Женщина ушла, и она осталась одна с коляской. Младенец заворочался, причмокнул губами, но не проснулся. Настя смотрела на него и чувствовала, как в груди поднимается что-то горячее, похожее на то тепло, которое приходило во сне, на холме, где ещё не было слов. Она протянула руку и едва коснулась пальцем крошечной ладошки, выглядывавшей из одеяла. Пальцы младенца на секунду сжались вокруг её пальца — чисто рефлекторно, но Насте показалось, что это пожатие. Что-то вроде «здравствуй».

— Спасибо, — женщина уже вернулась. — Не плакала?

— Нет, — ответила Настя. — Она у вас хорошая.

— Это он, — улыбнулась женщина. — Сын.

Настя отвела взгляд. Ей вдруг захотелось рассказать этой незнакомой женщине всё — про тарелку, про книгу, про сон, про то, что она больше не чувствует себя целой, а только наполовину, и вторая половина болит, как ампутированная конечность. Но вместо этого она просто кивнула и прошла к окошку.

Вечером она позвонила мужу. Нужно было обсудить документы на квартиру, но разговор почти сразу свернул не туда.

— Ты опять забыла оплатить счёт за электричество, — сказал он вместо «здравствуй».

— Я оплатила.

— Нет, мне пришло уведомление. Ты вечно всё пускаешь на самотёк, Настя.

Она стояла с телефоном у уха и смотрела в окно. Его голос звучал глухо, как через подушку, — и вдруг она узнала это ощущение. Так же звучал голос Адама, когда туча между ними стала плотной и слова перестали доходить. Она не слышала его — она слышала только помехи.

— Ты меня слушаешь? — спросил он.

— Слушаю. Я оплачу.

— Дело не в деньгах. Дело в том, что ты никогда...

Она перестала разбирать слова. В ушах стоял шум — не гнев, а та самая тишина, которая громче любого крика. Она смотрела на своё отражение в стекле и видела там не себя, а Еву — женщину, которая стоит по ту сторону тучи и не может пробиться мыслью. Только теперь туча была в телефонной трубке.

— ...и вообще, я устал от этого. От тебя. От всего.

Она нажала «отбой». Не потому, что разозлилась. Просто поняла, что дальше тучи слов не пробиться. Что можно кричать, плакать, объяснять — и всё равно он услышит только шум.

Телефон зазвонил снова. Она не ответила. Вместо этого надела наушники и включила книгу.

2

Каин вырос и стал земледельцем. Авель — пастухом. Братья не помнили единства, они родились уже разделёнными, и разделение это было так глубоко, что они не знали, что когда-то было иначе.

Но иногда — редко, по ночам, когда затихал ветер, — Каину снился сон. Ему снилось, что он стоит на вершине холма и внутри него звучит музыка — три ноты, одна за другой. И от этой музыки тепло разливается под левой ключицей. Он просыпался в слезах и не понимал почему.

Авеля снился тот же сон. Но он никому не рассказывал.

Однажды они принесли жертву. Каин положил на алтарь плоды земли — пшеницу, ячмень, виноград. Авель принёс агнёнка — первенца от своего стада. Дым от жертвы Авеля поднялся к небу прямым, высоким столбом, а дым Каина стелился по земле, как туман, и таял, не долетая до небес.

— Почему? — спросил Каин. — Почему его дым идёт вверх, а мой — нет?

Никто не ответил ему. Никто не мог ответить, потому что никто не знал. Но Каин понял это молчание как приговор.

— Ты нелюбим, — сказал он себе. — Ты всегда был нелюбим. Ты — второй, запасной, тот, кто родился после мёртвого.

Он не знал, что его мать, Ева, любила его так же сильно, как и Авеля. Что его отец, Адам, каждую ночь стоял у его постели и слушал, как он дышит, и боялся, что дыхание оборвётся, как оборвалось у первого. Он не знал. Потому что туча уже стояла между всеми — не только между мужчиной и женщиной, но и между братьями, между родителями и детьми, между каждым и каждым.

И вот однажды в поле Каин сказал Авелю:

— Пойдём.

Они пошли. Земля под ногами была сухой, потрескавшейся от зноя. Каин поднял камень. Авель обернулся — и в последний миг их взгляды встретились. Авель хотел что-то сказать, но не успел. Камень опустился.

А потом Каин остался один. Он стоял над телом брата и чувствовал, как внутри что-то рвётся — та самая нить, которая ещё связывала его с миром. Он не знал, что делать. Он никогда не видел смерти — только слышал о ней от матери.

— Что ты наделал? — раздался голос. Он прозвучал не снаружи, а внутри, но Каин уже не умел отличать одно от другого.

— Я не знаю, — ответил он. — Разве я сторож брату моему?

— Голос крови твоего брата вопиет ко Мне от земли.

Каин упал на колени. Земля под ним была красной — он не заметил, когда она стала красной. И вдруг он понял: та музыка из сна, те три ноты — это было обещание. Обещание, что когда-нибудь туча рассеется. Но теперь он сам стал тучей. Сам убил того, с кем мог бы когда-нибудь снова стать единым.

— Проклят ты от земли, — сказал голос.

— Моё наказание больше, чем можно вынести, — ответил Каин.

И тогда голос смягчился — или ему показалось?

— Всякому, кто убьёт Каина, отомститесь всемеро. И сделал ему знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.

Каин встал и пошёл. Он не знал куда. Он просто шёл, и земля под его ногами оставалась сухой и мёртвой. А где-то далеко его мать, ещё не зная о случившемся, сидела у входа в пещеру и смотрела на закат. И ей вдруг стало холодно — без причины, просто холодно, как будто кто-то провёл ледяной ладонью по её сердцу.

— Что-то случилось, — сказала она Адаму.

— Что?

— Я не знаю. Но что-то случилось с моим сыном.

Она ещё не знала, с каким именно. Но сердце её — то самое, что когда-то умело слышать мысли другого, — ещё помнило. Ещё отзывалось. Ещё болело.

Настя очнулась в своей постели. Она не помнила, как легла спать, — только то, что включила книгу где-то после ужина, а потом провалилась. Телефон снова разрядился, наушники запутались в волосах. За окном было темно — не то ночь, не то раннее утро.

Она полежала немного, глядя в потолок с трещиной. Сон о Каине всё ещё стоял перед глазами — но это был не её сон. Это была книга. Или всё-таки её сон, просто рассказанный книгой? Границы стёрлись. Она помнила каждое слово, каждую интонацию — но одновременно помнила запах сухой земли и ощущение камня в руке. Тяжёлого. Острого. Неизбежного.

За окном что-то гроыхнуло — гроза. Апрельская, ранняя, неожиданная. Настя встала и подошла к окну. Молния расчертила небо на мгновение, и она увидела двор: мокрые машины, пустую детскую площадку, лужу под фонарём. Вспышка высветила что-то ещё — какую-то тень возле песочницы, похожую на человеческую фигуру. Настя пригляделась. Никого. Просто тень от качелей.

Она вернулась в постель, но уснуть уже не могла. В голове крутились слова из книги: «Он не знал, что его мать любила его так же сильно, как и Авеля». Она подумала о Серёже. О том, что он сейчас спит в чужой квартире, под чужим одеялом, и рядом — чужая женщина. Новая жена бывшего мужа. Настя видела её один раз, случайно, в супермаркете. Молодая, с яркой помадой и смехом — лёгким, как будто она никогда не теряла детей в родах, никогда не стояла над тарелкой с застывшим жиром, никогда не чувствовала, как внутри что-то умирает. Настя тогда прошла мимо, не поздоровавшись. Не из гордости — просто не нашла слов.

А Серёжа? Что он чувствует? Она никогда не спрашивала. Ей казалось, что он ещё маленький, что он не понимает. Но он понимал — больше, чем она думала. Он молчал, как Абель, которому снился тот же сон, что и Каину, но он никому не рассказывал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.